

ЛИНА ЛИЧМАН

Не всякое
добро
во благо

ЛЮБОПЫТНАЯ БИБЛИОТЕКАРША



Лина Личман

**Любопытная библиотекарша,
или не всякое добро во благо**

«Автор»

2026

Личман Л.

Любопытная библиотекарьша, или не всякое добро во благо /
Л. Личман — «Автор», 2026

Она просто хотела узнать, что ищет странный читатель. Но любопытство наказуемо. Таисия всегда любила детективы, загадки и вопросы, на которые никто не собирался отвечать. Поэтому, когда в библиотеке появляется человек, день за днём просматривающий старые газетные подшивки, она не может пройти мимо. Одна подшивка, одна забытая история — и привычная жизнь превращается в череду странных совпадений, чужих секретов и опасных открытий. Люди, которые кажутся добрыми. Помощь, за которую потом приходится платить. Тайны, спрятанные так глубоко, что их уже почти перестали считать преступлениями. Но самое страшное — не узнать правду. Самое страшное — понять, что зло редко приходит с открытым лицом. Иногда оно улыбается, помогает, говорит правильные слова — и именно поэтому его слишком долго не замечают. Это история не только о расследовании. Это история о любопытстве, о семье, о выборе и о том, что не всякое добро во благо.

© Личман Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Любопытная библиотекарша, или не всякое добро во благо

Глава

Все персонажи и события данного произведения являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны. Действие романа происходит в 1996 году.

В то лето Геленджик плавился, как забытое на подоконнике эскимо, и весь город с утра до ночи полз к морю — купаться, загорать, блаженствовать. Весь, кроме меня. Я ползла не на пляж, а работать — в библиотеку. Под зонтиком, в панамке и с лицом человека, который точно знает, что солнце ему враг.

Половина девятого утра, а уже было ясно, что день будет из тех, когда асфальт прилипает к подошвам, а воздух можно намазывать на хлеб. Я вышла из подъезда и зажмурилась: солнце ударило сразу, в упор, без предисловий, как сосед, который занимает деньги ещё на лестнице. Над двором висел тот особый курортный гул, который к июлю становится фоном жизни и которого перестаёшь замечать, — шипение поливальных шлангов, чьё-то радио, далёкий басовитый «уаа» парохода из порта и крик чайки, у которой, судя по интонации, отняли что-то ценное.

На столбе у нашего дома висел плакат. С плаката на меня смотрел немолодой мужчина с уставшим, но решительным лицом, а поверх лица было написано: «ГОЛОСУЙ СЕРДЦЕМ». Плакат висел уже месяц, успел выгореть, и сердце на нём стало нежно-малиновым, а потом и вовсе цвета вчерашнего киселя. Под плакатом кто-то пристроил ящик и продавал с него семечки, кассеты и жвачку «Турбо». Вся страна тем летом выбирала будущее, а заодно меняла доллары, лузгала семечки и собирала вкладыши. Я в свои двадцать семь будущее выбрать не успевала — у меня была смена с девяти.

Дорога до библиотеки занимала двадцать минут, если идти как все люди, и полчаса, если идти как я — то есть перебежками от тени к тени, как партизан от куста к кусту. Тень я знала наизусть. Я знала, под каким платаном можно отдышаться, у какого киоска навес даёт прохладу, а где, наоборот, торгует мороженым тётя Рая, и под её зонтиком всегда толкуются дети, так что лучше обойти. Я бы, наверное, могла нарисовать карту Геленджикской тени с закрытыми глазами. Не из любви к искусству — просто не хотела стореть.

Потому что мне солнце действительно враг. Стоит мне десять минут постоять на пляже, как я из рыжей девушки с веснушками превращаюсь в варёного рака. Один раз в студенчестве, в Ростове, я героически пролежала на солнце сорок минут — за идею, за загар, за то, чтобы хоть раз в жизни выглядеть как нормальная курортная девушка, а не как недоваренная креветка с книжкой. Потом три дня спала стоя и мазалась сметаной. Сметану, между прочим, было жалко больше, чем себя: сметана была хорошая, базарная, а я — это всего лишь я.

С внешностью мне, прямо скажем, выдали что осталось на складе. Рост сто шестьдесят два, и половина из них — кудри. Рыжие, наглые, к полудню от влажного воздуха встают одуванчиком, и поделаться с ними нельзя ничего. Веснушки везде, даже где не положено. Кожа, как пишут в рекламе, «фарфоровая», а как говорят в жизни — «ты что, болеешь?». Плюс очки. Минус небольшой, но честный: без них мир превращается в акварель, написанную нетрезвым художником. Очки я поправляю, когда нервничаю, когда вру и когда думаю. То есть примерно всегда. Бабушка говорит, по моему носу можно время проверять: палец на переносице — значит, Таска опять что-то задумала.

Мама говорит, что я красивая. Но мама обязана, на то она и мама. К тому же маме легко рассуждать о красоте — мама у меня сама по себе отдельный вид искусства. Высокая, статная, с такой талией, что в неё хочется верить, как в чудо, и со всем остальным, во что мужское население Геленджика верило охотно и массово. Когда мы идём по улице вдвоём, происходит всегда одно и то же: мужчина смотрит на маму, потом, по инерции, переводит взгляд на меня — и в глазах у него вспыхивает один и тот же вопрос. «А это, простите, что за брелок?»

Я не обижаюсь. Я вообще редко обижаюсь — это отнимает время, которое можно потратить на что-нибудь полезное. Например, на то, чтобы влипнуть в историю.

А влипнуть я умею. Это, пожалуй, единственное, что я умею делать по-настоящему профессионально, с детства, без подготовки и в любых погодных условиях. В детстве, впрочем, я была уверена, что у меня другое призвание. Я твёрдо знала, кем стану, и не сомневалась ни секунды: следователем. Не врачом, не учительницей, как мама, не «приличной девочкой с профессией» — а именно следователем, в плаще, с блокнотом, с правом задавать вопросы и сажать виноватых.

У меня была на это, между прочим, личная причина — серьёзная, выстраданная и совершенно детская. Я собиралась найти папу.

Папу я не помню. Папа ушёл, когда мне было года три, ушёл красиво, не хлопнув дверью, а как-то растворившись, оставив после себя запах одеколона, пару фотографий, на которых он выходил низеньким и улыбчивым, и мамину коронную фразу, которую она повторяла всю мою жизнь без злости, буднично, как прогноз погоды: «Прощелыга он был, Таська. Обаятельный прощелыга. Лапшу вешал — заслушаешься». Так вот, я в детстве твёрдо решила, что вырасту, выучусь на следователя, найду этого обаятельного прощелыгу, посмотрю ему в глаза и впаяю ему что-нибудь по статье. Для начала лет пять. А там как пойдёт.

Чтобы не терять форму до встречи с папой, я тренировалась на подъезде. Я завела толстую тетрадку в клеточку и записывала туда улики против всех соседей. Подъезд, надо сказать, был под подозрением весь, поголовно. Дядя Слава с третьего возвращался по ночам и подозрительно гремел ключами — явный рецидивист. Бабка Зоя с первого слишком много знала про всех — наводчица. Молодожёны со второго ссорились — мокрое дело, не иначе, готовится. Я вела наблюдение, я делала выводы, я составляла схемы.

А потом мне исполнилось четырнадцать, и в один совершенно обычный день, на совершенно обычном вдохе, я вдруг не смогла...

Я до сих пор помню это удивление — даже не страх сначала, а именно удивление. Воздух был вокруг, целый мир воздуха, бесплатного, июльского, пахнущего морем, — а в меня он почему-то не шёл. Будто кто-то изнутри взял и пережал трубочку. Я хваталась за горло, мама белела лицом, бабушка куда-то бежала, а я смотрела на них снизу вверх и думала только одно, по-детски обиженно: «Ну как же так. Я же дышу. Я всегда умела».

Слово «астма» врач в поликлинике сказал так буднично, будто объявил остановку. «Бронхиальная астма. Будете наблюдаться». И на этом моя следственная карьера, толком не начавшись, получила штамп «отказано». В милицию с таким здоровьем не берут — это мне объяснили позже, уже когда я, упрямая, всё-таки сунулась узнавать. Не берут с астмой. Не берут с ростом сто шестьдесят два. Не берут таких, кто после короткой пробежки за автобусом стоит, держась за столб, и доказывает прохожим всем своим видом, что просто отдыхает. Бодро. С одышкой.

И знаете что? Я решила, что это даже логично. Если жизнь закрыла одну дверь, надо честно поискать, не приоткрыта ли где форточка. Не можешь ловить преступников — будешь хотя бы читать про тех, кто их ловит. Целыми днями. За зарплату. В прохладе. С чаем. Тут есть своя справедливость, если особо не присматриваться и не вспоминать про плащ и блокнот.

Так я оказалась там, где и шла сейчас, перебежками от тени к тени, — в центральной городской библиотеке имени Короленко, на Приморской, в двух шагах от того самого моря,

которое мне было совершенно ни к чему. Имени Владимира Галактионовича — писателя честного, серьёзного и, подозреваю, не дочитанного до конца доброй половиной наших читателей, включая, каюсь, меня саму.

Библиотека наша помещалась в старом двухэтажном доме с толстыми стенами, и в этом была её главная, ничем не заменимая ценность: внутри всегда было прохладно. Толстые стены, высокие потолки, вечный полумрак, запах — тот самый, ни с чем не сравнимый запах старой бумаги, клея, пыли и времени, который для меня всегда был запахом счастья. Летом, когда город снаружи кипел, у нас стояла блаженная сонная тишина, нарушаемая только жужжанием мухи под потолком да шелестом страниц. Снаружи — пекло, ор, базар, выборы и отдыхающие. Внутри — тень, тишина и тридцать тысяч книг, в каждой из которых кто-нибудь кого-нибудь да убил. Я считала это место лучшим в городе и, кажется, считаю до сих пор.

Хозяйкой этого царства тишины была Аделаида Эдуардовна. Её надо описать отдельно, потому что таких людей больше не делают — выпуск, видимо, сняли с производства. Это была женщина-монумент, женщина-колонна, женщина, в присутствии которой хотелось встать ровнее и сдать что-нибудь на проверку. Высокая, прямая, с башней седеющих волос, уложенных раз и навсегда, она передвигалась по библиотеке бесшумно и величественно, как линкор по бухте, и от одного её взгляда расшалившиеся школьники превращались в гербарий. Если бы тишину можно было выдать замуж, Аделаида Эдуардовна была бы её законной супругой и держала бы беднягу в строгости. Шикать она умела так, что у людей подкашивались ноги; её фирменное «тш-ш-ш» обладало физической силой и могло, кажется, останавливать транспорт.

И при всём при этом — я знала её маленькую тайну, и тайна эта примиряла меня с её характером целиком. Под стойкой с формулярами и каталожными карточками, у Аделаиды Эдуардовны всегда был спрятан любовный роман в мягкой обложке. Из тех, где на картинке мускулистый граф с распахнутой грудью спасает полуобморочную деву от чего-то, чего она, судя по выражению лица, в упор не хочет избегать. Аделаида Эдуардовна читала их запоем, тайно, страница за страницей, и пряча книжку под журнал учёта при малейшем шорохе. Я делала вид, что не замечаю. Она делала вид, что её не существует. На этом взаимном благородном вранье и держался наш с ней мир.

— Синичкина, — раздалось над моей макушкой ровно в ту секунду, как я переступила порог и зажмурилась от блаженной прохлады. — Вы опоздали на четыре минуты.

— Я боролась со стихией, Аделаида Эдуардовна, — честно сказала я, снимая панаму и пытаясь руками вернуть кудрям хоть какое-то подобие приличия. Кудри отказались. — Там жара. Там, между прочим, плюс тридцать четыре в тени, а тени нет.

— В моё время, — отчеканила Аделаида Эдуардовна, и это «в моё время» прозвучало как начало приговора, — жара не была уважительной причиной. Уважительной причиной была война.

Спорить с этим было нечего, и я пошла за стойку, на своё рабочее место, к своему любимому скрипучему стулу и каталожному шкафу, который ненавидела всей душой. Аделаида Эдуардовна, проследив, что я заняла пост, удалилась в свой кабинет — и я точно знала, что граф с распахнутой грудью уже ждёт её там, заложенный шпилькой на самом интересном месте.

Утро в летней библиотеке течёт медленно, как мёд из банки. Нормальные люди в это время на пляже, а к нам заходят только те, кому совсем уж некуда деваться. Я их всех знала наперечёт и про себя делила на три породы.

Первая порода — школьник. Несчастное существо, которому к осени всучили список литературы на лето и совесть, и теперь оно, потное и обречённое, приходит за «чем-нибудь потоньше из Толстого». Я таким всегда сочувствовала и тайком подсовывала то, что покороче, спасая детство хотя бы частично.

Вторая порода — турист. Этот заходит случайно, перепутав нас с чем-нибудь полезным — пунктом обмена валюты, кассой или, чаще всего, туалетом. Обнаружив, что попал в храм

книги, турист обычно пугается, бормочет извинения и пятится к выходу, как будто увидел привидение.

И третья порода, самая моя любимая, — постоянные. Их было немного, и каждый был на вес золота. Например, Семён Маркович, отставной военный, который приходил ровно в десять, брал подшивку «Науки и жизни» и до обеда решал в уголке шахматные задачи, бормоча под нос и сражаясь сам с собой так азартно, что иногда забывался и вслух объявлял мат. Или Тамара Игнатьевна, дама лет семидесяти в неизменной шляпке с вуалькой, которая брала исключительно любовные романы — те самые, что тайком читала Аделаида Эдуардовна, отчего между двумя пожилыми дамами шла глухая многолетняя война за свежие поступления, в которой я была то Швейцарией, то контрабандистом.

В то утро всё шло как обычно. Я выдала школьнику «Муму» (покороче не нашлось, и я честно предупредила, что конец грустный). Я указала туристу в плавках и с надувным крокодилом под мышкой, что туалет — это через дорогу и левее, а у нас, извините, книги. Я приняла у Семёна Марковича подшивку и выслушала его жалобу на то, что в шестой задаче, по его глубокому убеждению, опечатка, потому что иначе белые не выигрывают, а он, Семён Маркович, не для того брал Кёнигсберг, чтобы белые не выигрывали.

Словом, ничего не предвещало.

Я стояла за стойкой, обмахивалась формуляром, смотрела, как в косом луче света из высокого окна медленно кружится пыль, и думала о том, что вечером будет мамин пирог и что зря с утра не взяла из дома котлету. Я была, в общем-то, совершенно счастлива. Я вообще почти всегда счастлива — это у нас семейное, наследственное, как рыжина и упрямство. Бабушка по этому поводу говорит так: «Не переживай, Таська. У нас в роду у каждого по девять жизней наперёд. Так что живи смело, всё равно одной не обойдёшься».

Я тогда, конечно, считала это просто бабушкиной присказкой. Милой семейной глупостью, вроде того, что нельзя свистеть в доме и здороваться через порог.

Но всё это будет потом. А пока в высоком окне кружилась пыль, граф в кабинете спасал свою деву, Семён Маркович шёпотом брал Кёнигсберг, за стеной плавился счастливый бестолковый курорт, и до того дня, когда в эту дверь войдёт тихий человек в сером и всё начнётся, оставалось ещё целых три дня тишины.

Их, эти три дня, я потом долго вспоминала. Хорошие были дни. Жалко, что тогда я этого не понимала, — мы ведь никогда не знаем, что дни хорошие, пока они не кончатся.

Домой я возвращалась тем же манером, что и шла на работу, — перебежками, только теперь солнце било в другую щёку, а город из утреннего, сонного, превратился в вечерний, разморённый и нахальный. Набережная гудела. Из репродукторов несло «Лето — это маленькая жизнь», с пляжей тянулись красные, лоснящиеся, счастливые отдыхающие, пахло шампльком, кремом для загара и тем особым вечерним морем, которое начинает пахнуть только часам к семи, когда жара отпускает. У ракушечного развала молодой парень в панаме кричал: «Сувениры! Магнитики! Ракушки натуральные, привозные!» — и я в который раз подумала, что «натуральные привозные ракушки» в приморском городе — это, пожалуй, самый честный обман на свете.

Жили мы втроём в большой квартире на втором этаже старого дома над городом, из тех домов, что строили ещё «при профессоре» и больше так строить не будут — с лепниной, с высокими потолками, с настоящими, в две доски, полами, которые поскрипывали под ногой каждый на свой манер, так что я с закрытыми глазами могла сказать, кто из нас и в какой комнате ходит. Квартира была на четыре комнаты — непозволительная по нынешним временам роскошь для трёх женщин, — и досталась она нам от деда.

Деда я не застала. Дед умер в начале восьмидесятых, задолго до того, как я научилась задавать вопросы, и для меня он существовал только в виде портрета в большой комнате — строгий человек в очках и при галстуке, с высоким лбом и таким выражением лица, будто мы

все ему недосдавали экзамен и он терпеливо ждёт пересдачи. Дед был профессор, и бабушка вышла за него — тут она всякий раз делала паузу и поднимала палец — «исключительно по любви к высшему образованию», в семнадцать лет, будучи его студенткой. Мама на этом месте всегда закатывала глаза. Я всякий раз записывала — на случай, если когда-нибудь придётся расследовать.

— Явилась, — констатировала бабушка, не оборачиваясь от плиты, едва я переступила порог. У бабушки был сверхъестественный слух на меня: она узнавала мои шаги ещё на лестнице, на пол-этажа ниже, и встречала всегда одним и тем же словом, в которое умудрялась вложить целую гамму — от «слава богу, живая» до «ну что ты опять натворила, я по походке слышу».

— Явилась, — согласилась я, сбрасывая панаму и втягивая носом воздух. Пахло пирогом. С капустой. Я узнала бы этот запах из тысячи, в любом состоянии, даже, наверное, из гроба, простите за мой неизменный оптимизм. — Бабуль, ты гений. Я весь день про твой пирог думала.

— Конечно, гений, — не стала спорить бабушка. — В кого тебе ещё быть, не в мать же. Мать у нас красавица, а ум весь мне достался. Руки мыть.

Бабушку мою звали Римма, и описывать её — всё равно что описывать сквозняк: вроде вот она, а ухватить невозможно. Маленькая, худенькая, быстрая, с короткой стрижкой стального цвета и глазами, которые видели насквозь стены, людей и любые отговорки. Ей было за шестьдесят, но возраст к ней как-то не приставал — в очереди за молоком её до сих пор звали «девушка», и она не поправляла, считая, что глупо спорить с очевидным. Она пережила деда, пережила безденежье, перестройку, два инфаркта (свой и соседкин, причём за соседкин переживала больше) и сохранила при этом ту лёгкость, которую не купишь и не подделаешь. «Я, Таська, всё в этой жизни уже видела, — говорила она. — Так чего мне теперь бояться? Разве что дурака какого. Но дураков я за версту чую».

Чуяла она и правда всё. Если в Геленджике кто-то чихал, бабушка знала кто, по какому поводу, к добру или к худу и чем это кончится. Полгорода она знала в лицо, вторую половину — по именам родни, и весь рынок, набережная и очереди в сберкассах были для неё чем-то вроде открытой книги, которую она читала с ленивым удовольствием, как читают газету за завтраком.

Из глубины квартиры донёсся плеск, облако духов «Климат» и мамин голос:

— Тася, ты? Иди скорей, скажи честно — мне идёт это платье или я в нём как несвежий огурец?

Мама собиралась. Мама всегда собиралась — на свидание, со свидания или, в самом крайнем случае, в паузе между двумя свиданиями, которую она использовала, чтобы перевести дух и накрутить волосы. В свои сорок шесть мама выглядела так, что официанты в редких наших походах в кафе приносили ей счёт с телефоном на обороте, а потом заливались краской, узнав, что у этого чуда есть взрослая дочь, и дочь — вот эта рыжая, в очках, которая хихикает.

Я зашла в её комнату. Мама стояла перед зеркалом в платье цвета спелой вишни, и платье на ней сидело так, что хотелось вздохнуть и пойти есть пирог от расстройства. Высокая, с той самой талией, с плечами, с осанкой — мама была из тех женщин, на которых оборачиваются не потому, что красиво, а потому, что иначе невозможно, как невозможно не обернуться на закат.

— Тебе всё идёт, — сказала я честно. — Несвежим огурцом тут и не пахло никогда. А куда сегодня?

— В «Прибой», — пропела мама, придирчиво разглядывая себя. — Ужинать. Витольд Казимирович приглашает. Помнишь Витольда? Высокий такой, с усами, инженер из санатория.

Я не помнила Витольда. У меня была хорошая память на бумажки и плохая на маминих кавалеров — их было слишком много, и они менялись быстрее, чем времена года. Через мамину жизнь проходила нескончаемая вереница обходительных мужчин: они дарили цветы,

чинили краны, доставали билеты, приносили коробки конфет и были все как один услужливы, влюблены и обречены. Потому что мама замуж не собиралась. Категорически. На все случаи жизни у неё была заготовлена одна и та же мудрость, которую она выдавала с убийственным спокойствием:

— Пока мужчина ухаживает, Тася, он принц. Цветы, комплименты, в рот тебе смотрит. А как штамп в паспорте — всё, кончился принц. Дальше живёт диван с потребностями. Я один раз попробовала, родила тебя — и хватит с меня экспериментов. Лучше я буду вечная невеста, чем разочарованная жена.

Кавалеров своих мама держала на ровной, безопасной дистанции и перебирала, как открытки в коробке. Был Витольд с усами. Был какой-то Эдик, директор продуктового, что было удобно в эпоху, когда продукты надо было ещё «достать». Был грустный вдовец-музыкант из филармонии. Был Терентий Семёнович — этот по страховой части, тихий, услужливый, вечно с конфетами и какой-нибудь полезностью: то справку поможет выправить, то бумаги оформить. Был ещё кто-то, я уже путалась. Все они для меня сливались в одно доброжелательное, одеколонное пятно, и я, грешным делом, ни одного из них всерьёз не рассматривала. Кому интересны мамины ухажёры, когда есть детективы и пирог.

— А Тамара Игнатьевна сегодня опять у нас любовный роман выпрашивала, — сказала я, плюхнувшись на мамину кровать и наблюдая, как она воюет с серёжкой. — Тот, новый, про графа. А его Аделаида Эдуардовна себе уже заиграла. Я между ними как между двух огней.

— Дай старухам книжку, — посоветовала мама, прищурившись в зеркало. — Что тебе, жалко? Пусть читают про любовь, раз в жизни не сложилось.

— А у тебя сложилось? — поддела я.

— У меня, деточка, всё сложилось так, как я сама захотела, — отрезала мама с достоинством. — Это, между прочим, высшее искусство.

— Ужинать иди, искусство, — крикнула из кухни бабушка. — Пирог стынет. А ты, Алка, своему Витольду скажи, чтоб до одиннадцати привёл. А то в прошлый раз твой музыкант тебя в полночь под окнами серенадами будил, весь подъезд переполошил, кот у Зинки до утра орал.

Мы сели ужинать втроём, как садились каждый вечер, — за круглый стол под старым оранжевым абажуром, который дед, по легенде, привёз ещё из Ленинграда. Это был наш час. Что бы ни творилось снаружи — жара, выборы, безденежье, мамины кавалеры, мои детективы, — вечерний чай за этим столом был незыблем, как смена прилива. Бабушка разливала, мама красиво подпирала щеку, я таскала из пирога капусту, и мы говорили обо всём сразу и ни о чём, перебивая друг друга, как умеют только люди, которые знают друг друга наизусть.

Я смотрела на них — на ослепительную маму в вишнёвом платье и на маленькую быструю бабушку с её всевидящими глазами — и в который раз думала, что вот они, мои две лучшие подруги. Других, настоящих, у меня как-то не завелось. Были приятельницы — Олька, Василиса, ещё девочки с прежней работы, — но это было не то. С приятельницами я смеялась, ходила в кино, обсуждала кавалеров. А доверять можно было только этим двоим. Только им можно было рассказать всё — и про неудачу, и про глупость, и про страх, — и знать, что не предадут, не разнесут, не используют. Может, поэтому у меня и не сложилось с подругами на стороне. Зачем искать на улице то, что и так каждый вечер сидит с тобой за одним столом.

Мама ушла к своему Витольду, цокая каблуками по вечерней улице, бабушка мыла посуду и тихонько ругала политиков, говорящих по радио, а я устроилась с детективом и чаем у открытого окна, в которое наконец-то потянуло прохладой с моря. Хороший был вечер. Тихий. Третий из тех трёх, что мне ещё оставались.

Он пришёл на четвёртый день, в двенадцать минут первого. Я запомнила время, потому что как раз думала про обед и про то, что зря опять не взяла из дома котлету — котлета в нашей семье вообще проходит лейтмотивом, как судьба у Бетховена.

Дверь скрипнула — у нас все двери скрипели, Аделаида Эдуардовна считала, что смазанные петли развращают читателя вседозволенностью, — и вошёл человек, на которого в обычной жизни я бы не посмотрела дважды. Да что там дважды — я бы и одного раза не потратила. Он был весь какой-то цвета пыли. Серая рубашка, серые брюки, серая, давно не модная сумка через плечо и лицо такого фасона, что забываешь его раньше, чем дочитаешь до конца. Не урод, не красавец, не молодой, не старый — лет пятьдесят, наверное, хотя я бы не поручилась. Из тех людей, которых в очереди пропускают вперёд, даже не заметив, что пропустили. Из тех, кого свидетели потом описывают милиции одинаково: «ну такой... обыкновенный... да я как-то и не разглядел».

Я мысленно назвала его Серым — сразу, с порога, без раздумий. Серый подошёл к стойке, и я включила свой профессиональный библиотечный голос — тот средний регистр между «доброй феей» и «я тут, между прочим, при исполнении», который вырабатывается за три года работы сам собой.

— Здравствуйте. Чем могу помочь?

— Детектив, — сказал он негромко. — Что-нибудь. На ваш вкус.

Сердце моё немедленно потеплело. Родная душа! Я детективы глотаю быстрее, чем мама кавалеров, и человека, который с порога просит «детектив на ваш вкус», я готова полюбить авансом, не глядя. Я выдала ему хороший, проверенный временем экземпляр — из тех, где труп уже на третьей странице, а сыщик умнее всех в радиусе двухсот страниц, — и приготовилась к тому, что Серый сядет в уголок и будет читать, как все нормальные приличные люди в жаркий полдень.

Он не стал. Взял детектив, поблагодарил, отошёл — и тут же вернулся. И попросил подшивку старых газет. «Прибой», местную. За тысяча девятьсот семьдесят девятый год.

Я выдала и подшивку, не придав этому никакого значения. Мало ли. Краеведы у нас захаживали, дачники, ищущие, в каком году тут построили санаторий, пенсионеры, тоскующие по молодости. Подшивки старого «Прибоя» брали нечасто, но брали.

Серый устроился у окна, разложил газеты и углубился. А я вернулась к своему каталожному шкафу и про него забыла — до завтра.

Потому что на завтра он пришёл снова. И послезавтра. И на третий день.

Каждый день, ближе к полудню, серый человек в серой рубашке возникал в дверях, тихо здоровался, брал — для приличия, я уже понимала, что для приличия, — какой-нибудь детектив, который потом так и лежал у него нетронутым, как зонтик, прихваченный на всякий случай. А следом просил подшивку. Каждый день — за новый год. Семьдесят девятый. Восемьдесят первый. Восемьдесят четвёртый. Он шёл по времени методично, год за годом, и в этой методичности было что-то такое, отчего во мне, как старая знакомая, заворочалась моя главная беда. Любопытство. Потому что читал он неправильно.

Я за три года насмотрелась, как люди читают подшивки. Нормальный человек подшивку листает живо: туда-сюда, заголовок зацепил — притормозил, фотография понравилась — улыбнулся, объявление о выставке тридцатилетней давности рассмешило — хмыкнул. Подшивка — это же машина времени, по ней гуляешь, как по парку. А Серый по парку не гулял. Серый работал. Он шёл по странице ровно, сверху вниз, столбец за столбцом, не отвлекаясь ни на фотографии, ни на передовицы, ни на «Поздравляем наших передовиков». И время от времени что-то выписывал к себе в блокнот — маленький, серый, под цвет хозяина. Аккуратно. Коротко. Будто сверял список покупок.

Вот это «будто сверял список покупок» засело у меня в голове и не давало покоя.

На третий день я не выдержала. Я подошла к нему с тележкой — у нас была библиотечная тележка, на которой развозят книги по полкам, скрипучая до неприличия, под неё впору красться разве что слону в гости к другому слону, — и, изображая бурную расстановочную деятельность, заговорила.

— Что-то конкретное ищите? — спросила я самым медовым своим голосом. — Может, подскажу. Я тут всё знаю, где что лежит. Год какой нужен, тема — только скажите.

Серый поднял на меня глаза, и я впервые рассмотрела их толком. Глаза у него оказались неожиданные для такого незаметного лица — усталые, умные и какие-то настороженные, как у человека, который давно живёт с оглядкой и разучился спать спокойно.

— Спасибо, — сказал он. — Я сам.

«Я сам». Два самых подозрительных слова в русском языке. Так говорят мужчины, которые сейчас будут полтора часа делать то, что я сделала бы за пять минут. И ещё, я давно заметила, так говорят люди, которым есть что прятать. Честному человеку нечего скрывать от библиотекаря — честный человек, наоборот, рад, когда ему помогают. А «я сам» — это маленькая закрытая дверь. Вежливая, но закрытая.

Я отползла обратно к стойке, села на скрипучий стул и принялась за своё любимое занятие — думать про чужого человека лишнее.

Кто он? Версии посыпались, как горох. Журналист, пишет про старый Геленджик, — но тогда зачем блокнот и эта повадка таиться? Наследник, разыскивает родню по старым некрологам, — теплее, но почему так пугливо озирается? Может, он из этих, из «органов», тихо что-то проверяет, — тогда я ему мешаю и лучше не лезть. А может — и эта версия мне, конечно, нравилась больше всех, — может, он маньяк, который выбирает по газетам новую жертву, и я единственная в городе, кто это заметил. Версию с маньяком я, как честный человек, отложила в сторону как наименее вероятную.

Вечером за чаем я как бы между прочим спросила бабушку — а бабушка ведь знала весь город, это была моя домашняя справочная служба, работавшая лучше любого адресного стола:

— Бабуль. Ходит к нам один. Серый такой, незаметный, лет пятидесяти. Не местный, по виду. Не знаешь, кто?

Бабушка задумалась. И — вот что меня по-настоящему зацепило — не вспомнила.

— Серый, говоришь, незаметный, — она нахмурилась, перебирая в своей бездонной памяти лица, имена, родню. — Не-е. Не наш. наших я всех знаю. Приезжий, значит. А чего он тут забыл, приезжий, летом, в библиотеке, когда нормальные люди на море?

И вот это было самое интересное. Бабушка не знала человека. Бабушка, которая знала в Геленджике каждую собаку — в прямом смысле, она и собак знала по кличкам, — не знала этого серого, тихого, методичного человека, который каждый день приходил к нам читать про чужие давние беды. Чужак. Который зачем-то изучает наше прошлое.

Я легла спать, а уснуть не могла. Лежала, смотрела в потолок, слушала, как за окном гудит ночной курорт и где-то далеко играет музыка, и думала про аккуратный серый блокнотик и про повадку «сверять список покупок».

«Это не твоё дело, Тася, — сказала я себе строго и по обыкновению неубедительно. — Мало ли кто что читает. Твоё дело — выдавать книги, мести пыль и не лезть».

Сама себе я, как всегда, не поверила. И, засыпая, твёрдо решила: завтра я непременно загляну в этот блокнот. Одним глазком. Что я, маленькая?

Серый стал ходить к нам каждый день, и каждый день я придумывала новую версию, кто он такой. Версии я строила с азартом и абсолютной убеждёностью, и каждая держалась ровно до следующего утра, когда я придумывала следующую, ещё более убедительную и такую же неправильную.

В понедельник он был журналистом. Это объясняло блокнот, методичность и интерес к старым газетам. Минус версии: журналисты не озираются так пугливо, будто за ними гонятся, и не вздрагивают, когда скрипнет дверь. Я понаблюдала, как он вздрогнул на скрип, и журналиста вычеркнула.

Во вторник он стал шпионом. Не знаю чьим и зачем шпиону наши подшивки «Прибоя» за семьдесят девятый год, но версия была красивая, и я весь день за ним следила поверх фор-

муляров с замиранием сердца. К вечеру шпион попросил у меня воды, потому что ему стало душно, и так трогательно, по-стариковски, благодарил, что шпиона тоже пришлось вычеркнуть. Шпионы воду у библиотечкарей не выпрашивают. У шпионов, я уверена, своя вода есть.

В среду он был сумасшедшим. Эту версию я лелеяла особенно нежно, потому что она объясняла всё: и блокнот, и «несчастных», и пугливость. Мало ли что взбредёт в голову душевнобольному человеку — может, он коллекционирует покойников, как другие марки. Версия рухнула, когда я подсмотрела, что записи у него в блокноте ровные, логичные, в две колонки, с датами. Сумасшедшие так не пишут. Сумасшедшие пишут вкривь и вкось, я в библиотеке навидалась.

В четверг я сдалась и пошла к авторитету. То есть к Семёну Марковичу. Он, отставной полковник и покоритель Кёнигсберга, был, по моему глубокому убеждению, человеком бывалым и в людях разбирающимся — не зря же он всю жизнь кем-то командовал. Я подседа к нему в обеденный перерыв, когда он отдыхал от шахматной задачи, и, понизив голос, кивнула на Серого в дальнем углу:

— Семён Маркович. Вот тот человек. Что вы о нём скажете? Как военный.

Семён Маркович неторопливо обернулся, оглядел Серого профессиональным взглядом старого вояки и пожевал губами.

— Горе у него, — сказал он наконец.

Я опешила. Я-то ждала чего-нибудь про осанку, про выправку, про «этот человек явно служил». А он сказал — горе.

— Почему горе? — спросила я.

— А ты на руки его посмотри, — сказал Семён Маркович. — Не на лицо — лицо человек прятать умеет. На руки. Видишь, как страницу переворачивает? Бережно. Будто боится порвать. Так не газету листают, девочка. Так листают то, в чём ищут дорогого человека. Я после войны в архивах так списки перебирал — своих искал, кто пропал без вести. Каждую страницу как живую. Вот и он так. Кого-то он там ищет, в твоих газетах. Кого-то, кого потерял. И давно ищет, измучился весь. У меня к таким глаз намётанный. Я этих глаз на войне насмотрелся — кто ищет и не находит.

Я сидела ошарашенная. Старый полковник за тридцать секунд увидел в Сером то, чего я не разглядела за неделю слежки со всеми моими версиями. Не журналиста, не шпиона, не сумасшедшего. Человека с горем. Человека, который ищет потерянного.

— А вы откуда так умеете, Семён Маркович? — спросила я тихо.

— Дожить до моих лет — научишься, — усмехнулся он. — Книжки твои, Тася, это хорошо. Но люди — они не в книжках. Люди в руках, в глазах, в том, как человек дверь открывает да чаю просит. Ты вон умная, начитанная, а главного в человеке пока не видишь — суетишься, версии строишь. А ты не строй. Ты смотри. Само придёт.

«Ты не строй. Ты смотри. Само придёт». Я покивала, поблагодарила — и, конечно, не послушалась. Смотреть по-настоящему я пока ещё не умела. Я умела только строить версии, одну другой стройнее. Может, в этом и есть весь секрет сыска? Не в уликах. А в том, чтобы дожить до возраста, когда перестаёшь строить версии и начинаешь просто смотреть на руки.

Мне до этого возраста было ещё далеко. Поэтому в тот вечер я, вместо того чтобы просто посмотреть на руки серого человека и подойти к нему по-человечески, придумала на ночь ещё одну версию — номер четыре. Чай, детектив у окна и совершенно спокойный сон человека, который думает, что всё про всех понимает.

Утром я пришла на работу с твёрдым планом и нечистой совестью — сочетание, в котором я провела большую часть жизни. План был прост: заглянуть в блокнот. Совесть была нечиста, потому что заглядывать в чужие блокноты честный библиотечкарь не должен, а я отлично знала, что я честный библиотечкарь, — просто любопытство во мне всегда оказывалось чуть честнее честности.

Серый пришёл, как часы, в свой полдень. Взял для приличия детектив, попросил подшивку — на этот раз за восемьдесят шестой, — и устроился у окна. Я выждала, пока он углубится в работу и перестанет замечать мир, нагрозила тележку книгами, которые и так стояли где надо, и поехала на дело.

Тележка скрипела на весь зал. Но Серый был из тех, кто, погружаясь в своё, выпадает из реальности целиком, — он не поднял головы, даже когда я с грохотом притёрла тележку к соседнему стеллажу и сделала вид, что мучительно ищу место для «Истории Древнего Рима» в трёх томах.

Я зашла ему за спину. Наклонилась к нижней полке. И — одним глазком, краешком, как учили меня сотни прочитанных детективов, — заглянула через серое плечо в серый блокнот. Там был столбик.

Аккуратный, расчерченный от руки на две колонки. Слева — фамилии. Справа — даты. Ровный, убористый почерк человека, который привык записывать так, чтобы потом разобрать. Я успела выхватить взглядом две или три строчки — «Кравцова... Полешук...» — и годы рядом, давние, из прошлой жизни.

А над столбиком, поверху, отдельно, было выведено одно слово. Подчёркнутое дважды, с нажимом, так, что перо едва не прорвало бумагу.

«Несчастные».

Я выпрямилась чуть резче, чем следовало бы для конспирации. Внутри у меня что-то сделало холодный кульбит. «Несчастные». Не «нужные», не «должники», не «свидетели». Несчастные. Список несчастных, который чужой, незаметный, методичный человек собирает по нашим старым газетам, год за годом, методично двигаясь сквозь время.

Остаток дня я провела как на иголках. Я выдавала книги, отвечала на вопросы, указала очередному туристу дорогу к туалету (через дорогу и левее, я это уже могла говорить во сне), но всё это делала вполуха, потому что внутри у меня тикало. А когда Серый, ближе к закрытию, сдал подшивку, попрощался своим бесцветным «спасибо» и растворился в вечерней жаре, я заперла за последним читателем дверь, прислонилась к ней спиной и сказала вслух, в пустой полутёмный зал:

— Так. А теперь, Таисия Тихоновна, давай посмотрим, чем ты тут торгуешь.

И вот тут началось то, ради чего, я и сидела все эти годы в библиотеке. Потому что у меня было то, чего нет ни у одного сыщика в городе. У меня были ключи от хранилища, тридцать лет подшивок и совесть, которая в нужный момент очень удобно засыпала.

Я знала, какие тома Серый держал в руках за эту неделю. Я их сама ему выдавала — семьдесят девятый, восемьдесят первый, восемьдесят четвёртый, восемьдесят шестой. Я сняла их с полки, сложила стопкой на столе под лампой, заварила себе чаю покрепче и села читать так, как, наверное, ни один читатель в истории этой библиотеки не читал старые газеты, — выискивая в них смерть.

Находить оказалось страшно легко.

«Прибой» — газета добрая, провинциальная, она про смерть писала скупо, неохотно, тем казённым языком, которым описывают то, на что не хочется смотреть в упор. Несколько строк в уголке, без фамилии на видном месте, без подробностей. «Трагический случай произошёл...» «По неосторожности...» «Тело обнаружено...» «Выражаем соболезнования...» Я раньше эти заметки проскакивала, не замечая, как проскакиваешь объявления о собрании жильцов. А теперь я их выискивала — и они всплывали одна за другой, маленькие, серые, как сам Серый.

Семьдесят девятый. Кравцова Нина Петровна, жительница Тонкого мыса. Утонула во время купания. Спасти не удалось.

Восемьдесят четвёртый. Полешук, сторож лодочной станции. Уснул с непогашенной папиросой, сгорел вместе со сторожкой.

Восемьдесят шестой. Супруги Гуржий. Не справились с управлением на серпантине, машина упала с обрыва.

Я выписывала их к себе в тетрадку — в ту самую, в клеточку, прямую наследницу той, детской, в которой я когда-то вела дела против собственного подъезда, — фамилия, дата, как погиб. Столбик мой рос и до жути напоминал тот, в чужом блокноте. Только Серый знал что-то, чего пока не знала я: зачем.

А потом библиотека сделала то, что умеет делать только библиотека, — подкинула первую настоящую странность.

Я полезла за восемьдесят вторым годом — Серый его пока не брал, но мне хотелось проверить промежуток, — и обнаружила, что в подшивке не хватает номера. Аккуратно, у самого корешка, был срезан один выпуск. Не вырван — вырванный лист оставляет ключья, заусенцы, я их сто раз видела у нерадивых читателей. А этот был именно срезан, ровно, лезвием, чисто. Кто-то очень спокойными руками изъясил из нашей подшивки один газетный номер за август восемьдесят второго года.

Я сидела и смотрела на этот ровный срез, и по спине у меня полз тот самый холодок из детективов, который я столько лет считала художественным преувеличением.

Кто-то до Серого. Кто-то ещё раньше. Кто-то, кому очень не хотелось, чтобы про август восемьдесят второго читали.

Я полезла в формуляры — у нас на каждую единицу хранения заводилась карточка, кто и когда брал. По подшивкам формуляры велись лениво, краеведы есть краеведы, но кое-что там было. И за тот злополучный восемьдесят второй том стояла одна-единственная запись, старая, выцветшая, ещё прежним библиотекарским почерком. И фамилия в ней была не Серого.

Фамилию эту я перепишу к себе в тетрадку и буду долго на неё смотреть. Но это уже завтра. А пока я сидела одна в запертой тёмной библиотеке, над стопкой старых газет, в которых тихо, по-провинциальному скупно, лежали восемь чужих смертей, и понимала с холодной ясностью только одно. Это не случайные заметки. И Серый — не сумасшедший краевед.

Кто-то в нашем тихом, пахнущем шашлыком и кремом для загара курортном городе много лет назад начал собирать несчастные случаи. А кто-то другой много лет назад начал замечать следы. А теперь пришёл серый методичный человек и идёт по этому старому, остывшему следу — год за годом, фамилия за фамилией. И я, рыжая дура с астмой и двумя парами очков, только что встала на этот след третьей.

Я заперла газеты в стол, погасила лампу и пошла домой — впервые в жизни оглядываясь на пустой ночной улице. А в голове у меня, заглушая всё, стучало одно слово. Подчёркнутое дважды. Несчастные.

С тем срезанным номером и чужой фамилией в формуляре я носилась по библиотеке так заметно, что в конце концов меня застукала Аделаида Эдуардовна. И вот тут со мной случилось то, чего я никак не ждала: вместо разноса я обрела союзницу. Самую невероятную из всех возможных.

— Синичкина, — сказала Аделаида Эдуардовна, подойдя бесшумно, как линкор в тумане, и застав меня склонённой над подшивкой с лупой (лупу я взяла у Семёна Марковича, у него этого добра было полно). — Что вы делаете с фондом? Это инвентарная единица, а не место для ваших фантазий.

— Аделаида Эдуардовна, — сказала я, понимая, что отпираться поздно, — из этой подшивки вырезан номер. Бритвой. Давно. И я пытаюсь понять кто.

Я ждала «тш-ш-ш», выговора и ссылки на инструкцию. А вместо этого случилось вот что: Аделаида Эдуардовна выпрямилась, поправила башню седеющих волос — и в глазах у неё, обычно холодных, как читальный зал зимой, зажёгся азартный огонёк. Тот самый, который, как я давно подозревала, тлел у неё под суровой коркой и питался по ночам романами про графов.

— Вырезан номер? — переспросила она, и голос её упал до заговорщического. — Из фонда? Порча государственного имущества? — Она склонилась над подшивкой рядом со мной, и я впервые увидела не заведующую-монумент, а пожилую женщину, всю жизнь тайком читавшую детективы вперемежку с любовными романами и не имевшую случая применить прочитанное. — Дайте лупу. Так. Срез ровный. Профессиональный. Это не школьник вырвал картинку. Это сделал взрослый человек, аккуратный, со спокойной рукой. Синичкина, это, между прочим, статья.

— Я знаю, — сказала я, обалдев. — А вы откуда знаете про срезы?

— Я, милочка, сорок лет в библиотечном деле, — отчеканила Аделаида Эдуардовна с достоинством. — Я фонды от вандалов обороняю дольше, чем вы на свете живёте. И не делайте такое лицо, будто я гербарий. Я в молодости, между прочим, метила в следователи. Не взяли — анкета подвела, отец в плену был. Пошла в библиотеку. — Она поджала губы. — Так что не вам одной, Синичкина, жизнь крылья подрезала.

Я смотрела на неё во все глаза. Вот тебе и Аделаида Эдуардовна. Вот тебе и женщина-монумент. Ещё одна несостоявшаяся сыщица, как и я. Весь, оказывается, наш храм тишины держался на двух библиотекаршах, которые втайне мечтали ловить преступников, а вместо этого выдавали книги и шикали на читателей.

С того дня у меня появился неожиданный, но бесценный соратник. Аделаида Эдуардовна включилась в дело со всей нерастраченной за сорок лет страстью. И оказалось, что в библиотечном сыске ей нет равных.

Это она вспомнила, что формуляры старого образца хранятся в подвале, в опечатанных коробках, и что по ним можно поднять, кто брал подшивки тридцать лет назад. Это она, порывшись в ведомостях по личному составу — «у меня тут всё под учётом, Синичкина, не то что у вас в голове», — установила, что в восемьдесят втором заведующей была некая Вера Павловна, ныне на пенсии, и даже раздобыла мне её адрес у автовокзала. Это она научила меня читать старые библиотечные пометки, расшифровывать сокращения, отличать руку одного библиотекаря от другого по тому, как загнут хвостик у буквы «д».

— Бумага помнит всё, Синичкина, — приговаривала она, листая ветхие ведомости в нитяных перчатках, которые откуда-то извлекла специально для случая. — Люди врут, а бумага помнит. Кто, когда, что взял, что не вернул. Надо только уметь её спросить. Это вам не по заборам лазать. — (Про заборы она, к моему ужасу, как-то прознала. В библиотеке вообще ничего нельзя было скрыть — стены имели уши, а уши имели Аделаиду Эдуардовну.)

И вот сидели мы с ней вечерами после закрытия, две библиотекарши, молодая и старая, рыжая и седая, обложившись подшивками, формулярами и ведомостями, под единственной настольной лампой, — и распутывали по бумажке двадцатилетней давности убийство, о котором не подозревал ни один человек в городе. И я ловила себя на том, что счастлива. Несмотря на весь ужас. Потому что вот оно — то, о чём я мечтала с детства, с той тетрадки против собственного подъезда. Я расследовала. По-настоящему. Своим оружием — бумагой, памятью, терпением. И не одна.

— Аделаида Эдуардовна, — сказала я ей как-то. — А почему вы мне помогаете? Это же опасно. И не по инструкции.

Она посмотрела на меня поверх очков, строго.

— Потому, Синичкина, — сказала она, — что нам с вами по пятьдесят лет на двоих жизнь твердила: сидите тихо, выдавайте книжки, не лезьте. Вам — из-за здоровья. Мне — из-за анкеты. А мы обе всю жизнь знали, что могли бы лучше многих. — Она захлопнула ведомость. — Так вот, может, хоть раз, на старости моих лет и на молодости ваших, мы кому-нибудь докажем, что зря нас не взяли. В первую очередь — себе. — Она помолчала и добавила, уже своим обычным, монументальным тоном: — А теперь марш домой, поздно. И верните Семёну Марковичу лупу, он без неё задачи не решает, мне жаловался.

Так я приобрела в этом деле второго союзника — после бабушки. И, между прочим, на всю жизнь. Потому что после той истории Аделаида Эдуардовна оттаяла ко мне навсегда и даже — неслыханное дело — стала иногда первой давать мне новые любовные романы, вперёд Тамары Игнатьевны. Что в нашей библиотечной табели о рангах означало высшую степень признания.

А пока — лампа, ведомости, нитяные перчатки и адрес Веры Павловны, записанный аккуратным библиотечным почерком на карточке. Дорогу туда мне проложила она. Женщина-монумент с азартным огоньком под коркой и несбывшейся мечтой о следствии.

Расследование расследованием, а библиотека работала, и жизнь в ней шла своим чередом. И, как ни странно, именно теперь, когда я гонялась за тенью и покойниками, обычный мой библиотечный день стал особенно дорог — островок нормальности посреди безумия, поручень в трясущемся автобусе, за который держишься, чтоб не улететь.

А день в летней библиотеке начинался с борьбы. Не с преступностью — с пылью, духотой и Аделаидой Эдуардовной, причём в порядке возрастания опасности.

Пыль я вытирала. Духоту впускала, открывая высокие окна на ту сторону, где платан давал тень. А с Аделаидой Эдуардовной воевала вечно и беззлобно, как воюют река и берег, — каждый при своём, и оба довольны.

Первым, как часы, являлся Семён Маркович. Ровно в десять, минута в минуту, — отставной полковник, по которому можно было проверять время точнее, чем по радио. Он брал подшивку «Науки и жизни», садился в свой угол у окна и до обеда сражался с шахматными задачами, бормоча под нос целые баталии. Семён Маркович не просто решал задачи — он их переживал. «Так, конь сюда... нет, голубчик, врётся... а мы тебя ладьёй, ладьёй, как под Кёнигсбергом...» Иногда он забывался и объявлял мат вслух, на весь зал, торжествуя, — и тогда из глубины библиотеки выплывала Аделаида Эдуардовна и обрушивала на него своё знаменитое «тш-ш-ш», от которого вздрагивали стёкла. Семён Маркович пугался, извинялся и минут десять решал задачи беззвучно, шевеля губами, как рыба, а потом снова входил в азарт и снова брал Кёнигсберг во весь голос. Это повторялось каждый день и было прекрасно.

В одиннадцать приходила Тамара Игнатьевна. Дама лет семидесяти, в неизменной шляпке с вуалькой даже в сорокаградусную жару, она входила, как королева в изгнании, — с достоинством человека, который видел лучшие времена и не намерен это скрывать. И между Тамарой Игнатьевной и Аделаидой Эдуардовной шла война. Тихая, многолетняя, беспощадная — война за любовные романы.

Дело в том, что обе они тайно, страстно, до самозабвения любили эти книжки в мягких обложках, где мускулистые графы спасают трепетных дев. И обе делали вид, что выше этого. Аделаида Эдуардовна, как заведующая, имела доступ к свежим поступлениям первой и беззастенчиво пользовалась служебным положением: новый роман про графа залегал у неё под стойкой раньше, чем попадал в каталог. А Тамара Игнатьевна, чуя свежатинку каким-то особым библиофильским нюхом, являлась требовать своё — и натывалась на каменное «ещё не обработано, поступит в фонд — выдадим в порядке очереди».

— Аделаида Эдуардовна, — цедила Тамара Игнатьевна, поправляя вуальку, — я по своим источникам знаю, что «Пленница шейха» уже поступила.

— Ваши источники вас обманывают, Тамара Игнатьевна, — отвечала Аделаида Эдуардовна, не моргнув глазом, хотя «Пленница шейха» в этот самый момент лежала у неё под журналом учёта, заложенная на сто сорок второй странице шпилькой.

И обе смотрели на меня. А я была между ними Швейцарией, ООН и линией фронта одновременно. И, признаюсь, обычно держала сторону Тамары Игнатьевны — тайком, контрабандой, подсовывая ей вождельный роман через день после Аделаиды, чем заслужила её вечную благодарность и звание «единственного приличного человека в этом учреждении».

Между этими постоянными всплывали и выплывали случайные. Заходил школьник за «чем потоньше». Забрел турист, перепутавший нас с туалетом или обменником, — и однажды один такой, в плавках и с надувным крокодилом под мышкой, минут пять попытался, не продаём ли мы открытки, а узнав, что у нас книги и бесплатно, ушёл разочарованный, будто его обманули. Заходили мамы с детьми переждать жару. Заходил городской сумасшедший Аркаша — добрый, тихий, — брал том энциклопедии на букву, которая ему сегодня нравилась, и весь день благоговейно его листал, не читая.

И я во всём этом плавала, как рыба в своей воде. Я знала, кому что подсунуть. Понимала, что школьнику с обречённым лицом надо дать не просто «потоньше», а такое, чтоб зацепило, — и тогда, может быть, через год он придёт сам, не за списком, а за книжкой. Помнила, что Семёну Марковичу важно не выиграть у задачи, а поспражаться. Знала, что Тамаре Игнатьевне роман нужен не ради графа, а ради того, чтобы хоть на пару вечеров в её одинокой квартире кто-то её спасал. Я читала своих читателей лучше, чем книги. В этом, а вовсе не в стрелочках на ватмане, и был мой настоящий талант: видеть, кому что болит.

В обед я ела принесённую из дома котлету (в те редкие дни, когда не забывала её взять) и читала. Детектив, конечно. Их я глотала по штуке в два дня, и помнила всех великих сыщиков как родных и каждого тайно примеряла на себя — и каждый раз с грустью понимала, что я ни на кого из них не похожа. Они были высокие, холодные, проницательные. А я была рыжая, мелкая, в очках, и проницательности во мне было ровно столько, чтобы вечно лезть не туда.

Вечером я запирала библиотеку, прощалась с дремлющей пылью и шла домой — перебежками от тени к тени, к маме, к бабушке, к пирогу и тёплой вечерней кухне. Вот и вся моя жизнь. Тихая, тенистая, пахнущая старой бумагой и инжирным вареньем. И знаете что? Я была в ней счастлива. По-настоящему. И вот за этот островок — за пыль, за графа под стойкой, за Кёнигсберг Семёна Марковича, за инжирное варенье дома — я в те безумные недели и держалась, как утопающий за поручень. Он меня, надо сказать, не подвёл. Что бы ни творилось снаружи, в библиотеке всегда было тихо, прохладно и пахло счастьем.

Жалко только, что тихо там было уже не всегда. Потому что серый человек с серым блокнотом приходил теперь каждый день — и приносил с собой совсем другой запах. Запах беды.

Штаб я развернула в тот же вечер, и, если вы думаете, что штаб тайного расследования — это что-то солидное, с картами и телефонами, то вы просто никогда не видели нашего обеденного стола под оранжевым абажуром.

Я приколотла к стене в большой комнате кусок старого ватмана — мама принесла целый рулон ещё с прошлой жизни, когда рисовала к педсоветам плакаты про успеваемость, и теперь на обороте «Итогов третьей четверти» рождалось моё первое настоящее дело. Я расчертила лист, выписала в кружочки фамилии из своей тетрадки, провела между ними стрелочки и поставила знаков вопроса. Получилось красиво и грозно. Получилось почти как в кино.

Бабушка подошла, встала рядом, сложила руки на груди и оглядела моё произведение с выражением генерала, которому в подкрепление прислали детский сад.

— Стрелочка от Кравцовой к Полещуку — это что? — спросила она.

— Это связь, — с достоинством сказала я.

— Какая связь?

— Пока не знаю. Поэтому и стрелочка с вопросиком.

— То есть ты нарисовала вопрос и соединила его с другим вопросом, — подытожила бабушка. — И это у тебя называется расследование. — Она покачала головой. — Садись, горе. Рассказывай по порядку, что нашла. А то ты со своими стрелочками к утру весь дом перепутаешь.

Мы сели. Мама, отменившая ради такого случая вечернего Витольда — «подождёт, ему полезно», — подобралась с другого края стола, подперла щеку и приготовилась слушать с тем живым любопытством, с каким она слушала вообще всё на свете. А я разложила тетрадку и

рассказала всё: про Серого, про блокнот, про слово «Несчастные», подчёркнутое дважды, про восемь смертей за семнадцать лет, про срезанный лезвием номер за восемьдесят второй и про чужую фамилию в старом формуляре.

Я думала, мама начнёт ахать, а бабушка — отмахиваться. Вышло наоборот. Мама слушала молча, и красивое её лицо делалось всё серьёзнее. А бабушка, когда я дошла до фамилий, вдруг перестала меня поправлять. Она сидела очень прямо, маленькая, и смотрела не на ватман, а куда-то сквозь него, в своё, в прошлое, к которому у неё всегда был ключ.

— Кравцова Нина, — сказала она негромко, когда я закончила. — Значит, и она в твоём списке. Нина Петровна.

— Ты её знала? — встрепелась я.

— Знала, — сказала бабушка. — Всех знала. — Она помолчала, словно решая, с чего начать, а потом начала — и я услышала то, чего не было и не могло быть ни в одной газетной заметке. Я услышала живого человека.

— Нинка Кравцова была баба громкая, — сказала бабушка, и губы у неё дрогнули в полуулыбке, тёплой и горькой. — Шумная, рыжая — вот как ты, Таська, только покрупнее, в теле. Хохотала на весь Тонкий мыс, её слышно было от автобусной остановки до самого моря. Муж у неё был тихий, моряк, всё в рейсах, а как помер — она одна осталась в доме на самом берегу. Хороший дом, добротный, с садом, инжир рос, помню, во дворе. Нинка была не бедная, прижимистая даже, но не жадная — это разные вещи, ты запомни. Прижимистая — это когда копит. Жадная — это когда чужого хочет. Нинка копила, а последнее с себя сняла бы и отдала, если человек в беде.

Бабушка отпила остывшего чая.

— И вот что я тебе скажу про Нинку Кравцову. Она плавала как рыба. Лучше любого мужика на том берегу. В шторм заплывала за буи, мы все на берегу крестились, а она хохочет, отфыркивается, как тюлень. Море её было — родное. И когда сказали, что Нинка утонула, я, Таська, первая не поверила. Я на похоронах стояла и думала: что угодно, только не вода. Нинку вода не возьмёт. Нинку море любило.

В комнате стало очень тихо. Только за окном гудел ночной курорт, чужой, беззаботный.

— А за месяц до того, как ей утонуть, — сказала бабушка, и голос её стал совсем другим. — Нинка дом продала. Тот самый, с инжиром. Удивлялись все — куда, зачем, на старости лет. А она хвасталась: к сестре в Краснодар переезжаю, надоело одной у моря куковать. И денег, говорит, дали хорошо, сверх всякого ожидания. И — вот тут слушай, Таська, — говорила, что повезло ей с покупателем и с бумагами. Хороший, мол, человек попался. Помог всё оформить, по-доброму, по-человечески. Сама бы я, говорит, в этих бумагах утонула.

Бабушка осеклась на слове «утонула». И мы все трое разом услышали, как страшно оно прозвучало.

— Через месяц её и похоронили, — тихо закончила бабушка. — В Краснодар она так и не уехала. Уехала на кладбище, на Тонком мысу, рядом с моряком своим.

Я сидела и не дышала. А в голове у меня тихо, со скрипом, как библиотечная тележка, поворачивалось страшное.

— Бабуль, — сказала я очень осторожно. — А деньги? Деньги-то за дом куда делись?

Бабушка посмотрела на меня — и я увидела, что она уже там, уже думает в ту же сторону, что и я, своим быстрым, безжалостным умом, который видел людей насквозь.

— А вот это, — сказала она медленно, — хороший вопрос, внучка. Сестра в Краснодаре, я слыхала, ни копейки не получила. Думали — Нинка перед отъездом припрятала, да унесла секрет с собой. Никто и не искал. Утонула старуха, дом продан, денег нет — ну, бывает. Кто ж в такое полезет.

— Я полезу, — сказала я.

И в этот раз никто не пошутил про сантехника.

Мама, всё это время молчавшая, вдруг положила ладонь на стол — тихо, но так, что мы обе обернулись.

— Тася, — сказала она. — Ты говоришь, в формуляре на тот срезанный номер фамилия была. Старая. Какая?

Я полистала тетрадку, нашла, прочитала вслух. Фамилия была самая обыкновенная, незвучная, из тех, что в каждом городе по десятку.

Мама нахмурилась. По красивому лицу её прошла тень — будто она что-то вспомнила и сама не рада была, что вспомнила.

— Знакомая фамилия, — сказала она медленно. — Не пойму откуда. Но знакомая. Висит, как имя забытого ученика.

— Вспомнишь, — сказала бабушка уверенно. — Ты у нас на лица и фамилии памятливая, вся в меня. Ночью вспомнишь, разбудишь.

Мы просидели за столом за полночь. Стрелочки на ватмане множились, чай остывал, абажур светил тёплым оранжевым светом на трёх женщин, склонившихся над списком чужих смертей. И я вдруг поняла одну простую вещь, от которой мне стало и страшно, и тепло одновременно.

Я больше не играла в Пуаро в одиночку. Нас было трое. И у нас, на нас троих, было то, чего не имел ни один сыщик в этом городе: библиотека, которая помнит всё, что написано, и бабушка, которая помнит всё, что не написано. А между этими двумя памятьми, и прячется правда.

Прошло несколько дней, и однажды за ужином бабушка сама вернулась к моему списку — будто всё это время перебирала его про себя и наконец дозрела. Расходиться после еды мы у себя не привыкли, так что я молча достала тетрадку, и бабушка с мамой, не сговариваясь, придвинулись по обе стороны от меня, как два секунданта.

— Гуржии, — сказала я, водя пальцем по списку. — Восемьдесят шестой год. Машина, серпантин. Бабуль, про них что знаешь?

Бабушка отставила чашку и сделалась серьёзной — она всегда серьёзнела, когда речь заходила о тех, кого знала живыми.

— Любку Гуржий я знала, — сказала она. — И Колю её. Хорошая была пара, дружная. Редко такие. Он шофёр, она в столовой санаторской поваром. Детей бог не дал, так они друг в друге души не чаяли, как молодые, хоть уж и не молодые были. Любка громкая, хохотушка — вот, Таська, как ты, только в теле и погромче. На весь рынок, бывало, хохочет. А Коля тихий, при ней, как при солнышке. Куда она — туда он.

— А машина откуда? — спросила я.

— А вот машина их и сгубила, — вздохнула бабушка. — Выиграли они её. По лотерее ДОСААФ, представляешь? «Москвич», новенький, цвета морской волны. Любка билет тот за тридцать копеек брала не глядя, в нагрузку к чему-то, и забыла. А он возьми и выиграй. Что тут было! Любка полгорода обзвонила, в столовой банкет заката, меня зазвала — «Римма, иди, обмоем мою морскую волну». Счастливая ходила, как именинница. Они ж всю жизнь на автобусах, а тут — своя машина, представляешь, по тем временам. Коля вокруг неё ходил, пылинки сдувал, не машину — икону завёл в гараже.

Мама слушала, подперев щеку, и глаза у неё были влажные. Мама вообще плакала легко и красиво, как умеют только очень счастливые в основе своей люди.

— И вот что я тебе скажу, Таська, — бабушка понизила голос. — Выигрыш-то тоже ведь оформлять надо было. Бумаги, налог какой-то, переоформление — я в этом не сильна, но возни много. И Любка мне хвасталась: повезло, мол, Римма, человек добрый подвернулся, всё устроил, всю канитель с бумагами на себя взял, и денег не спросил. «Не перевелись, — говорит, — Римма, добрые люди на свете». Я ещё, дура, порадовалась за неё.

У меня по спине пополз знакомый холодок. Опять. В третий раз. Те же слова, та же мелодия. «Человек добрый подвернулся. Всё с бумагами устроил. Денег не взял».

— А через две недели, — глухо закончила бабушка, — поехали они на той своей морской волне в Дивноморское, по серпантину. И не доехали. Машина с обрыва. Оба. Насмерть. — Она помолчала. — Говорили — Коля не справился, новая машина, дорога горная, не привык. А я тебе так скажу: Коля тридцать лет за баранкой, он этот серпантин с закрытыми глазами ездил, он на санаторском автобусе по нему отдыхающих возил пачками. Не мог он не справиться. Не мог.

— Как Нинка не могла утонуть, — тихо сказала я.

— Как Нинка, — кивнула бабушка.

Мы сидели молча. За окном гудел тёплый курортный вечер, ни о чём не подозревающий, чужой.

— А деньги? — спросила мама шёпотом. — Машину-то, поди, продали перед поездкой? Или...

— А вот тут самое чудное, — бабушка прищурилась. — Машину они не продавали, любили её. Но у них на книжке кое-что было, сбережения, на старость копили. И книжки той после похорон не нашли. Пустая квартира, всё на месте — а сберкнижки нет. Родня Любкина из Майкопа приезжала, искала-искала. Нет книжки. Ну, решили — потеряли старики, бывает, или припрятали так, что сами забыли.

— Или, — сказала я, и голос у меня сел, — кто-то «помог оформить» и эту книжку тоже.

В комнате стало тихо. Я смотрела на свой ватман, на кружочек с надписью «Гуржии, 86», и видела теперь за этим кружочком не строчку из газеты, а громкую Любку, которая хохотала на весь рынок и обмывала свою морскую волну, и тихого Колю, который сдувал с неё пылинки. Двух счастливых людей, которым «подвернулся добрый человек».

— Бабуль, — сказала я. — Ты только что мне их живыми сделала. И от этого в сто раз страшнее.

— А ты как думала, — жёстко сказала бабушка. — Они и были живые, Таська. Все они были живые. Это в твоей газете они строчки. А у меня они — Любка, Коля, Нинка, дед Полещук. Я с ними на одном рынке стояла, в одной очереди за молоком. Вот ты это запомни, когда своего зверя ловить будешь. Что он не строчки убивал. Он Любку убил, которая хохотала. И Колю, который её любил. — Она встала, начала собирать чашки. — Лови его, внучка. Только не для строчек лови. Для Любки.

Я в ту ночь долго не спала. Думала про морскую волну, про серпантин, про сберкнижку, которой не нашли. И ещё думала, что бабушка, сама того не зная, дала мне в тот вечер не улику. Она дала мне причину. Ту, без которой никакой сыщик, ни с корочкой, ни без, не стоит и ломаного гроша. Злость за живых.

Если бабушка была у нас главной по прошлому, то мама была главной по настоящему. И назавтра, в воскресенье, мама взялась за дело так, как умела только она, — без единой стрелочки, без ватмана, без тетрадки. Мама просто пошла гулять.

— Пройдёмся, Тася, — сказала она утром, надевая шляпу с широкими полями (под этой шляпой, кстати, и я могла укрыться, если прижаться боком, чем мы обе и пользовались). — Воскресенье, грех сидеть. Заодно я тебе покажу, как делаются дела в этом городе.

Воскресный Геленджик — это отдельное зрелище, ради которого, мне кажется, и стоит жить на свете. К десяти утра весь город высыпал на улицу, и улица гудела, плавилась и пахла. Пахло одновременно морем, чебуреками, нагретым асфальтом и розами из чьего-то палисадника. По набережной — той самой, которую только-только начинали мостить и которая была пока наполовину стройкой, наполовину мечтой о набережной, — текла густая, медленная, счастливая толпа. Загорелые отдыхающие в сланцах. Дети с леденцами и обгоревшими носами. Фотограф с обезьянкой в распашонке и облезлым попугаем, который за пару тысяч рублей

вытаскивал клювом «билетик счастья». Мужик, продающий с раскладного столика солнечные очки всех мыслимых фасонов и одной мыслимой китайской фабрики. Из открытых окон, из распахнутых дверей кафе, из чьего-то магнитофона на парапете — отовсюду лилась музыка, разная, наслаивающаяся одна на другую: тут «Белые розы», там «Бухгалтер», а из-за угла, перекрывая всех, бодрый предвыборный ролик про то, что надо голосовать, иначе проиграешь.

Мама плыла сквозь это всё как королева сквозь подданных. И подданные кланялись. Я даже не успевала запоминать, со сколькими людьми она поздоровалась за один квартал. Кивок продавщице мороженого. Улыбка милиционеру на углу — милиционер немедленно приосанился и втянул живот. «Здравствуйте, Алла Аристарховна!» — от стайки великовозрастных лбов у пивного ларька; лбы оказались её бывшими учениками и при виде учительницы дружно спрятали за спины бутылки, хотя каждому было лет по двадцать пять. «Аллочка, золотко, заходи, персики свежие!» — с фруктового развала. Мама знала всех. Не так, как бабушка, — бабушка знала корни, родню, кто от кого и кто кому должен. Мама знала людей живых, нынешних, через школу: за двадцать лет работы через её руки прошёл, кажется, весь город, а у каждого ученика были родители, а у родителей — соседи, кумовья, знакомые, и вся эта необъятная человеческая сеть сходилась к одной красивой женщине в широкополой шляпе.

— Вот так, Тасенька, и узнаётся всё на свете, — сказала мама, ласково кивая очередному кланяющемуся гражданину. — Не по бумажкам, как ты любишь, а по людям. Бумажка соврёт и не покраснеет. А человек — человек всегда что-нибудь да выболтает, если с ним по-хорошему.

Мы как бы случайно завернули во двор на улице Луначарского, где, как мама знала, по воскресеньям выбивает ковёр некая Зоя Васильевна — мать одного маминого давнего ученика и, как выяснилось, родня тех самых Полещуков из моего списка. Дальше я только наблюдала и училась. Мама не спрашивала в лоб. Мама охала над ковром, восхищалась геранью на балконе, посочувствовала ценам, помянула общих знакомых — и Зоя Васильевна, разомлев от внимания красивой Аллы Аристарховны, сама, по доброй воле, выложила всё.

— Полещук-то, дед? — Зоя Васильевна горестно махнула выбивалкой. — Так сгорел же, царствие небесное, в своей сторожке. Уж лет десять. По пьяни, говорили, с папироской уснул. Хотя я тебе так скажу, Аллочка, по секрету: не пил дед в последние-то месяцы. Завязал. Он перед тем как сгореть-то — представляешь — приоделся, костюмчик справил, зубы вставил. Помолодел весь. Мы думали, влюбился старый дурак. А он возьми и проговорись племяннику: наследство, мол, привалило. Тётка в Краснодаре померла, бездетная, всё ему отписала. Он и ожил. Денег, говорит, теперь хватит, поживу по-человечески.

— И много привалило? — мама спросила это так нежно, между прочим, поправляя Зое Васильевне сбившийся уголок ковра, что вопрос прозвучал как комплимент.

— А кто ж его знает, — пожала плечами Зоя Васильевна. — Только племяннику ни копейки не досталось, когда дед сгорел. Ни копейки! Всё в сторожке было, всё и сгорело, видать. Племянник локти кусал. И знаешь, что чудно? — Она понизила голос. — Дед перед смертью с человеком одним водился. Приличный такой, говорил культурно, в костюме. Будто бы помогал деду с наследством-то, с бумагами, оформить чтоб всё по закону. Дед его нахваливал: вот, мол, не перевелись добрые люди. А как дед сгорел — так и человек этот пропал. Больше не видали.

Мы шли домой молча. Я держала в голове, как держат горячее, два слова, одинаковые в двух разных историях, рассказанных двумя разными женщинами, не знавшими друг друга.

Костюм. Бумаги.

Громкая Нинка Кравцова, которая плавала как рыба, продала дом — «хороший человек помог оформить» — и утонула. Нищий сторож Полещук получил наследство — «приличный человек в костюме помог с бумагами» — и сгорел. У обоих перед смертью появились деньги. У обоих рядом возник вежливый помощник. У обоих деньги исчезли. Обоих не стало — чисто, по неосторожности, по-курортному.

— Мама, — сказала я, когда мы поднимались по нашей улице вверх, к дому. — Это один и тот же человек. Тот, который «помогает оформить». Он находит тех, кому привалило, втирается в доверие, помогает с бумагами — а потом забирает деньги и убирает человека. И обставляет как несчастный случай. Семнадцать лет. В нашем городе.

Мама долго молчала. Шляпа бросала тень на её красивое, ставшее вдруг очень серьёзным лицо.

— Если ты права, Тася, — сказала она наконец, — то это страшный человек. Знаешь, чем страшный? Не тем, что убивает. Мало ли убийц. А тем, что добрый. Он же им последнюю радость дарит. Старуха перед смертью счастливая ходит, дед зубы вставляет, молодеет. Он их сначала осчастливит, а потом... — Она передёрнула плечами, хотя было жарко. — Бр-р. Нет, такого голыми руками не возьмёшь. Такой умнее всех.

— А деньги, — сказала я. — Деньги-то где оседают, мам? Большие деньги, за семнадцать лет, с десятка человек. Где в нашем городе можно спрятать столько денег, чтоб никто не спросил, откуда?

Мама остановилась. Посмотрела на меня. И мы обе, не стовариваясь, повернули головы туда, вниз, где за крышами, за платанами, в самом сердце города шумел, торговал, жил и крутил сквозь себя все деньги Геленджика рынок.

Рынок. У которого, как у всякого сердца, был хозяин.

— Ой, Тася, — тихо сказала мама. — Только не говори мне, что ты собралась туда.

При всём ужасе, который потихоньку расплзался по нашему расследованию, жизнь дома шла своим чередом, и главным её двигателем были, разумеется, мамины кавалеры.

В тот вечер мама собиралась на свидание с Витольдом — тем самым, усатым инженером из санатория. Сборы у мамы были отдельным спектаклем, на который мы с бабушкой ходили, как в театр, — бесплатно, каждый раз с удовольствием и с обязательным обсуждением в антрактах.

— Зелёное или вишнёвое? — мама стояла перед зеркалом, прикладывая к себе по очереди два платья, и хмурилась так, будто решала судьбу отечества.

— Вишнёвое, — сказала я.

— Зелёное, — сказала бабушка. — В вишнёвом ты для Витольда слишком хороша. Перегоришь зря. Витольд вишнёвого не стоит, Витольд — это так, зелёное.

— Мама! — возмутилась мама. — Витольд приличный человек! Инженер! С квартирой!

— С усами, — уточнила бабушка непримиримо. — Я усатым не верю. Усатый что прячет? Губу прячет. А по губе всё про человека видно. Спрячет губу — спрячет и характер. Помяни моё слово, Алка: усатый — себе на уме.

Мама махнула рукой и надела зелёное — не потому что согласилась, а из принципа, чтоб доказать, что бабушка не угадала. Бабушка проводила её до двери, оглядела с ног до головы и вынесла вердикт:

— Красавица. Жалко на Витольда. Ну иди. К одиннадцати чтоб дома. И если опять поведёт в эту свою... «Прибой» и закажет тебе самое дешёвое — гони его, Алка. Скупой кавалер — это не кавалер, это недоразумение в галстуке.

Мама ушла. А мы с бабушкой остались пить чай и, как водится, перемывать косточки всему маминому войску поклонников — это у нас был любимый семейный вид спорта.

— Бабуль, а вот скажи, — спросила я, таская из вазочки варенье прямо ложкой, чего при маме делать не разрешалось. — У мамы их вон сколько. И Витольд, и музыкант этот грустный, и Эдик из гастронома, и Терентий Семёнович с конфетами. И всё впустую. Ни за кого ж не идёт. Зачем они ей тогда?

Бабушка подумала, прихлёбывая чай.

— А ни за чем, — сказала она. — В том-то и фокус, Тася. Алке не муж нужен. Алке нужно, чтоб её любили. А это, внучка, разные вещи, запомни. Муж — это быт, носки, харак-

тер, диван с потребностями, как Алка говорит. А когда ухаживают — это праздник. Цветы, комплименты, в рот смотрят. Алка обожглась раз на твоём отце, на быте обожглась, на штампе — и решила: всё, быта больше не будет, а праздник пускай будет. Вот и держит их всех на расстоянии вытянутой руки. Близо не подпускает, далеко не отпускает. Каждому по цветочку, сердцу — никому.

— А это не жестоко? — спросила я. — К ним-то?

— А они не дети, — пожала плечами бабушка. — Они взрослые мужики. Видят же, на что идут. Кому надо — тот не ходит за той, что замуж не собирается. А кто ходит — тому, значит, тоже праздник нужен, а не быт. Они друг друга стоят, Алка и её войско. Все при деле, все довольны, никто никому ничего не должен. — Она усмехнулась. — Я тебе так скажу: твоя мать не несчастная баба, которая не вышла замуж. Твоя мать — счастливая баба, которая не захотела. Это большая разница, Таська. Огромная.

Я задумалась. И, конечно, как всегда, тут же приложила это к себе — потому что в голове у меня в те дни всё, абсолютно всё, упорно приводило к одному большому, тёмному, тихому человеку, который вынул меня из канавы и до сих пор не шёл из головы.

— Бабуль, — сказала я осторожно. — А бывает, что человек и праздник, и быт сразу? Чтoб и любил как на празднике, и остаться можно?

Бабушка отставила чашку и посмотрела на меня внимательно, остро, своим рентгеном.

— Бывает, — сказала она медленно. — Редко. Раз в жизни. У меня вот был — Аристарх мой. А у Алки не случилось, не повезло. — Она прищурилась. — А ты чего это, рыжая, спрашиваешь? С чего вдруг тебя на философию потянуло? Ты ж у нас по детективам, не по любовным романам.

— Просто так, — сказала я и сделала самое честное лицо, на какое способна, то есть совершенно неубедительное, и поправила очки.

Бабушка хмыкнула. Бабушку моим честным лицом не проведёшь — она его читала, как я формуляры.

— Ну-ну, — сказала она. — Просто так. Знаю я твоё «просто так». — И добавила, вроде бы в сторону, вроде бы про маму, но глядя при этом прямо на меня: — Главное, Таська, не перепутай. Праздник от быта отличить — это полдела. А вот настоящего от страшного отличить — это уж наука потруднее. Бывает, человек и большой, и сильный, и любит крепко — а связываться с ним нельзя, потому что жизнь у него такая, что и тебя за собой утянет. А бывает наоборот — маленький, тихий, конфетки носит, а от него самого холодом тянет, как из погреба. Вот это, внучка, различать научись. Это поважнее всякого замужества.

Мама вернулась в половине одиннадцатого, раньше срока, и по лицу её было ясно: Витольд не оправдал даже зелёного платья.

— Ну? — хором спросили мы с бабушкой.

— Усатый — себе на уме, — мрачно процитировала мама, снимая туфли. — Повёл в «Прибой», заказал мне самый дешёвый салат, а себе шашлык, и весь вечер рассказывал про свою бывшую жену, какая она была хозяйственная. Хозяйственная! На свидании! Про бывшую!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.